



Майк Гелприн

Иллюстрация Сергея Дергачева

За что мне все это?

Аля заходит в вагон на «Академической». Как всегда. Пассажиры шарахаются в стороны. Тоже как всегда. Пассажиров немного: я отказался вести утренние пары, поэтому не езжу в метро в час пик. Это из-за Али, из-за ее спонтанных, непредсказуемых появлений.

Аля двигается по проходу. Медленно, скособочившись и подволакивая левую ногу. Скамьи по обе стороны прохода основательно пустеют.

— Какая тетя страшная, — замороженно глядя на Алю, шепчет белобрысая девчонка лет шести.

Мать хватает ее за руку и тащит прочь.

— Не смотри, солнышко, — доносится до меня. — Тете негде жить, не надо на нее смотреть.

— Стра-а-ашная.

Аля и вправду страшна. Она закутана в черную, в проехах, дерюгу, подпоясанную веревкой. На правой ноге распухший, в ржавых подпалинах валенок. Левая замотана в задубевшую марлю, грязно-серую, с бурыми разводами. На голове у Али черный, узлом завязанный под подбородком платок, поверх него — облезлая заячья ушанка.

Боже, в кого она превратилась, тоскливо думаю я. Некогда самая красивая студентка второго курса герценовского филфака. А ныне...

— Совсем совесть потеряли, — бубнит дородная старуха, с отвращением глядя на Алю. — Откуда только такие берутся! Жила бы у себя на свалке или где там, так нет — приперлась, где люди ездят, уродка.

Левая щека у Али вздувшаяся и багровая, она контрастирует с морщинистой, впалой правой. Из-под платка выбиваются сивые, сальные космы. Отвращения не вызывает только, пожалуй, взгляд. Глаза поблекли, выцвели, левый заплыл кровью там, где лопнул сосуд, а взгляд остался прежним: искристым, лукавым и озорным. Кажется, будто Али взгляд задержался на безобразном лице по недоразумению, словно его забыли стереть.

— Здравствуй, Стас. — Аля, схватившись за поручень, нависает надо мной. — Соскучился? Рад?

Вокруг меня пусто: пассажиров сдуло в торцы вагона исходящим от Али зловонием. Смердит от нее немисли-

мо — гнилью, тухлятиной, испражнениями, всем вместе. Я мог бы, конечно, привыкнуть, но привыкнуть не получается — рвотные спазмы упрямо подкатывают к горлу, и давяю я их с немалым трудом.

— Я спросила, рад ли ты меня видеть.

— Рад, — выдавливаю я. — Спасибо, что пришла.

Множество раз я умолял ее оставить меня в покое. Упрашивал, убеждал, орал, истерил. Грозил ей. Потом понял, что мольбы и угрозы Алю лишь распалаяют, и стал вести себя с нею сдержаннее.

— Хорошо выглядишь, Стас. — Аля усаживается рядом со мной. — Как твоя стерва?

В ответ я бурчу что-то неразборчивое, изо всех сил стараюсь не дышать, не смотреть, не обращать внимания. Стервой Аля называет Марину, мою жену. Еще — сухой и мразью. Я терплю — выбора у меня нет.

Я менял время поездок, менял вагоны, цеплял накладную бороду и темные очки. Безрезультатно: неделя-другая, и Аля находит меня, в любое время, в любом конце поезда и в любом обличье.

— Я люблю тебя, Стас, — признается она. — Очень люблю. Больше жизни. — Аля хрипло смеется. — Хочешь меня?

Поезд наконец останавливается на «Политехнической», это дарит мне краткую передышку. Из вагона ломятся наружу пассажиры. Стайка новых, не внявших предупреждениям тех, что удрали, оказывается внутри. Двери съезжаются, захлопывают бедняг в ловушку.

— Люди кругом, — стараюсь звучать ровно, говорю я. — Неудобно. Давай в другой раз.

Полицию наверняка уже вызвали. Пять минут. Надо протянуть еще пять минут, и все. Господи, помоги мне.

— Раньше тебя неудобства не останавливали, — кричит Аля.

— Я не в настроении, извини.

Аля хрипло, с подвизгиванием хихикает. Меня корежит.

— Я тебе помогу, милый.

— Пожалуйста, давай в другой раз.

Аля подается назад.

— У тебя кто-то есть, Стас? Есть?! — Аля голосит, истерически и истошно. — Я знаю, что есть, гад. Законной стервы тебе не хватает, завел новую лярву, мразь. Ублюдочная сволочь, козел, подонок!

— Успокойся, пожалуйста. Никого у меня нет.

— Врешь, гадина! Вре-е-е-е-ешь!

Поезд подкатывает к «Площади Мужества». Скорее же, молю я неведомо кого. Ради бога, скорее!

Двери наконец открываются и впускают полицейский наряд. Два сержанта, кривясь от отвращения, подхватывают Алю под руки, рывком вздергивают и волокут на выход.

— Опять эта ведьма, — ворчит один из полицейских. — Карга старая, как ее там...

— Парамонова, — подсказывает напарник. — Фу, вонючка.

«Какая к чертям Парамонова, — едва удерживаюсь от крика я. — Это не Парамонова, идиоты, это Аля! У нее другая, другая фамилия!»

— Долдоны, — кричит, вырываясь, Аля. — Сволочи! Отпустите меня, уроды! Стас, помоги, Ста-а-а-ас! Они хотят меня изнасиловать. Стас, твою женщину будут насиловать эти гады! Что сидишь, мразь? Ста-а-а-ас?! Ты...

Она смолкает на полуслове. Надсадно хрипит, кашляет. Полицейские выволакивают Алю из вагона. Нет, уже не Алю, уже Парамонову. Меня колотит, трясет. Господи, за что мне все это...

Голова раскалывается. Через «не могу» отбарабаниваю четыре лекции. Я рассказываю о печати трагизма в творчестве Лескова и Бунина. Говорю о психологических глубинах в ранних повестях Аксакова. На память цитирую Мариенгофа и Гиппиус. Третий курс. Первый. Выпускной. Я начитываю материал, а размытые лица студентов сливаются в одно — в уродливую, подвязанную дырявым платком рожу с распухшей багровой щекой. Потом рожа перекашивается, смазывается и исчезает. На ее месте материализуется высоколобое гордое лицо с атласной матовой кожей. Искрящиеся смешинки в уголках карих глаз. Крошечная родинка над верхней губой, словно усевшаяся на арбалетную дугу божья коровка. А еще точеная, с широкими бедрами и высокой грудью фигурка. Едва уловимый апельсиновый аромат от кожи. Такой была Аля тогда. Давно, шесть лет назад. До того, как мы с ней расстались.

К трем пополудни я выжат до капли. Завкафедрой недовольно морщится и поджимает губы, демонстрируя, насколько его раздражают мои недомогания.

— Сказать по чести, поднадоела ваша привычка отпрашиваться, — цедит он. — Ладно, идите.

Завкафедрой терпеть меня не может. Будь его воля, давно бы выпер «по собственному желанию». Воли, однако, у него нет — мой тесть дружит с ректором, тот многим ему обязан.

Все, скорее домой! Сдобрить коньяком кофе, закутаться в плед и снять с полки томик Соловьева. Начитаться российской истории так, чтобы величие эпохальных событий поглотило личные неурядицы. Или, может быть, не Соловьева, а Костомарова. Или Ключевского.

Вот он, вход в метро. Пересечь Невский, и...

— Станислав Сергеевич!

Я вздрагиваю, оборачиваюсь на ходу, затем останавливаюсь. В двух шагах — бледная анемичная пигалица, тонконогая, курносая, с белобрысой челкой и глазами цвета полевой незабудки. Забыл ее фамилию — что-то, связанное с пожаром...

— Вы меня не помните? Я Вика Гасилина, с первого курса. Я хотела... Хотела сказать...

Пигалица краснеет и умолкает. Что ж — продолжать и в самом деле ни к чему. Экзамены на носу. Самый простой и надежный способ их сдать — «ублажить препода». Предложений слегка переспать я получал немало — и завуалированных, и напрямую. В последние годы я неизменно отказывался. Мне хватило истории с Алей. С лихвой.

— Не продолжайте, — мягко говорю я. — Догадываюсь, вы хотели сказать, что свободны сегодня вечером. Или там завтра. Но я вечерами занят.

Вика охает и краснеет пуще прежнего.

— Я н-не это, — запинаясь, лепечет она и вдруг всхлипывает. — Совсем н-не это хотела сказать. Извините.

Вика отворачивается и нетвердой походкой бредет прочь, к Казанской площади. Я теряюсь. На любительский театр ее поведение не похоже.

— Это вы меня извините, — догоняю я заплаканную пигалицу. — Я не собирался вас обидеть. Знаете, студентки чаще всего предлагают... Ну, вы наверняка догадываетесь.

Вика останавливается. Вскидывает на меня взгляд. Пытается улыбнуться сквозь слезы. Улыбка выходит жалкой.

— Догадываюсь, — подтверждает она. — Но я совсем не поэтому. Знаете, я несколько месяцев храбрилась. Целую речь заготовила, репетировала перед зеркалом. И вот... наговорила. Вы меня приняли за шлюху, да?

— Ну что вы, — пытаюсь оправдаться я. — Отчего же сразу за шлюху. Девушки нынче э-э... несколько эмансипированы. «Свободные отношения» — так это, кажется, называется? В общем, у меня сегодня не лучший день, поверьте. Еще раз прошу простить.

— Я знаю, что не лучший. — Вика утирает, наконец, слезы носовым платком. — Видела вас сегодня в метро. И эту страшную бомжиху, которая снова к вам приставала. Я часто езжу с вами в одном вагоне, нам по пути. Сотню раз пыталась заставить себя подойти, но так и не решилась. Станислав Сергеевич, я хотела сказать, что мне очень нравится ваш предмет. И ваши лекции. И вы сами. Вы прекрасный, замечательный человек. — Вика с облегчением выдыхает. — Фуф, справилась. Слово поклажу с плеч сбросила.

— С чего вы взяли, что я прекрасный и замечательный? — недовольно бурчу я.

Вика отводит взгляд.

— Я знаю про вас, — едва слышно шепчет она. — Про ваши обстоятельства. Мне сказали. Общие знакомые, по секрету.

Меня продирает дрожью.

— Про какие именно обстоятельства?

— Про аварию. И про вашу жену.

Меня отпускает. Идиот, браню я себя. С чего я взял, что эта Вика имеет в виду обстоятельства, связанные с Алей? О них не знает никто. Вообще никто! Мало ли что она видела бомжиху в метро. Парамонова в нем живет.

— Извините. Я должен идти.

С тас! Наконец-то... Боже, как я измучилась. — Марина льнет ко мне, тяжело дышит, прижавшись к груди.

— Отчего?

— Я думала, ты больше не придешь.

Перевожу дух. Вчера Марина боялась, что я угодил под машину. Позавчера — что нашел другую женщину.

— Ну что ты, — ласково говорю я. — Ты же знаешь: никуда я от тебя не уйду. Мне никто, кроме тебя, не нужен.

Эти слова я повторяю, как мантру, — чуть ли не каждый день. Механизм утешения во мне доведен до автоматизма.

— Папа звонил. — Марина преданно, по-собачьи смотрит снизу вверх мне в глаза. — Ему порекомендовали нового целителя. Представляешь, и в лечебницу ехать не надо, этот целитель местный, живет где-то в деревне, неподалеку от города. Папа сказал — творит чудеса, он уже послал за ним солдат. Меня вылечат, вылечат, папа обещал!

— Непременно, — поддакиваю я. — Ты обязательно вылечишься, я уверен.

Марина неизлечима. Один за другим ею занимались полдюжины светил нейрохирургии. Один за другим они сдались, и настала очередь альтернативной медицины. Она оказалась столь же бессильна, как традиционная.

— Стас, я связала тебе шарфик. Примеришь?

— Да, конечно, — глажу Марину по голове. — Спасибо, обожаю твои рукоделия.

Счет вязаным шарфикам перевалил за третий десяток. Вышитым крестиком носовым платкам с монограммами и вензелями — за пятый. Вязание и вышивание успокаивают нервы, способствуют стабильности и покою. Марина рукодельничает четырнадцать часов в сутки, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять в году. Остальное время борется с болезнью, героически пытается жить.

Мы познакомились десять лет назад. В букинистической лавке. Я тогда оканчивал пятый курс и копил на собрание Достоевского. Мне отчаянно хотелось именно это собрание — прижизненное, с ятями, в идеальном состоянии — раритет. Полгода я откладывал каждую копейку со стипендий и ночных приработков на разгрузке вагонов. И наконец собрал нужную сумму.

— Продали мы Достоевского, — развел руками старик букинист. — Как раз позавчера. Да-да, я помню, что вы просили отложить до весны. Но уже апрель на изломе. Деньги дешевают, жизнь дорожает. Извините.

Обескураженный и разозленный, я двинулся на выход.

— Молодой человек!

Я повернул голову вправо и увидел худенькую девушку среднего роста, рыженькую, зеленоглазую, загорелую.

— Простите, вы мне?

— Да-да, вам. Извините, я здесь часто бываю, а сейчас невольно подслушала ваш разговор. Дело в том, что Достоевского купила я. И теперь раскаиваюсь: мне он, по сути, не нужен — так, минутная блажь. Меня, кстати, Мариной зовут.

Следующие три часа мы с Мариной брели куда глядели глаза и наперебой говорили о русской литературе. Она училась на втором курсе театрального, будущую выпускницу-отличницу уже ждали в элитных теле- и киностудиях. Я протирал штаны в педагогическом, меня ждала стандартная карьера преподавателя словесности в провинциальной школе. В лучшем случае в уездной гимназии. О питерской прописке приходилось лишь мечтать.

— А мне приснился сон, что Пушкин был спасен, — с жаром декламировал я Дементьева. — Спасен Сергеем Соболевским. Его любимый друг с достоинством и блеском дуэль расстроил вдруг.

— Дуэль не состоялась, — подхватила Марина, — остались боль, и ярость, и шум великосветский, что так ему постыл... К несчастью, Соболевский в тот год в Европах жил. Вот мы и пришли, Станислав. Я здесь живу. Не в Европах, правда, но дом хороший и совершенно новый, мы всего два месяца назад переехали. Знаете что: давайте зайдем. Я верну вам собрание.

Отнекаться мне не удалось. Не знаю, как в Европах, но пятикомнатная двуюрусная квартира на последнем этаже меня потрясла. А светлая и заставленная с пола до потолка антикварными книгами комната попросту ошеломила.

— Это мой кабинет, — объяснила Марина. — Я книжная девочка, с детства.

— Настоящие хоромы, — промямлил я невпопад.

— В этих хоромах мы живем вдвоем с папой, — грустно улыбнулась Марина. — Мамы уже два года как нет. Папа военный, он все время в командировках, поэтому я, по сути, здесь одна, если не считать домработницу и экономку.

Папа оказался не простым военным, а слегка так генерал-полковником Министерства обороны, высокопоставленным и влиятельным.

— Не такую партию я хотел для дочери, — сказал он месяц спустя, выставив Марину за дверь и придиричиво, словно рыночный товар, меня осмотрев. — Ну, давай, рассказывай, — генерал хмыкнул, — Стасик. Кто, чей, откуда, какого черта.

Я стушевался и с запинкой пролепетал, что из Тихвина, что мама библиотекарь, что сам я студент и что люблю его дочь.

— Бывал я в Тихвине, — поморщившись, сообщил генерал. — Та еще помойка. Ты Маринку уже попробовал?

От смущения я не сразу даже понял, что он имеет в виду, а когда понял, зарделся как пионерский костер. Кроме поцелуев, ничего у нас с Мариной не было — я робел и сделать следующий шаг страшился. Девушка, которую я позвал замуж и от которой услышал в ответ «да», мнилась мне непорочной, высокодуховной, возвышенной. Ничего общего с факультетскими дивами, которые были доступны везде, всегда, кому ни попадя и только позови.

Папа-генерал укоризненно покачал головой.

— Молодо-зелено, — вздохнул он. — Вам надо переспать. А то окажется, что калибры не совпадают, когда уже поздно будет. С этим, который до тебя ходил, как его, Пашка, что ли, тоже была любовь-морковь. А как до койки дошло, так выяснилось...

Я опешил. Мне почему-то и в голову не приходило, что у меня был предшественник. Или предшественники.

— Кто такой Пашка? — подступился я к Марине, едва генерал, сославшись на дела и сунув мне в нагрудный карман пару презервативов, убрался. — И что у него выяснилось?

У Пашки выяснилось наличие избыточного темперамента, усугубленное дефицитом деликатности. Поэтому он получил у Марины отставку, в которую генерал его собственноручно отправил.

Я не страдал ни тем, ни другим. Папиному совету мы с Мариной последовали в ту же ночь. Генеральская дочка оказалась столь же робкой и застенчивой в постели, как я вне ее. Даже раздевалась Марина, лежа под одеялом, а одевалась, неизменно требуя, чтобы я отвернулся к стене.

На свадьбу генерал подарил молодым трехкомнатную квартиру в элитной новостройке и кремовый, с иголки, «рено». Полгода спустя я сдал на права. Еще месяц спустя на повороте Выборгского шоссе не справился с управлением. «Рено» пошел юзом, вылетел на обочину, сорвался с нее и, кувыркаясь, покатился по склону.

Я отделался парой переломов, десятком гематом и амаксофобией. Так называется редкое психическое заболевание, которым страдают считанные единицы из тех, кто побывал в серьезной аварии. Наземный транспорт перестал для меня существовать. Я попросту стал неспособен заставить себя сесть в машину, в автобус, даже в трамвай. Попытки проехать хотя бы остановку неизменно оборачивались истериками и затяжными нервными срывами.

Марину врачи собирали по частям. И собрали не полностью. Моторные функции через год-полтора восстановились, ментальные — лишь отчасти.

— Ей необходим покой, — сказал прилетевший спецрейсом из Бонна и вытащивший Марину с того света немецкий нейрохирург. — Волноваться ей нельзя вообще, никогда, ни по какому поводу и на всю оставшуюся жизнь. Любой стресс для нее может оказаться последним. Ганс, переведите, — обернулся он к прибывшему тем же рейсом германскому толмачу. — Слово в слово.

— Поговорим как мужчина с мужчиной, Стас, — насупившись, предложил генерал, едва я выписался из больницы. — Не скрою: больше всего на свете мне сейчас хочется тебя пристрелить. Но я не стану этого делать, хотя мог бы упаковать тебя под плиту без всяких для себя последствий. Ты понял?

Я понуро кивнул.

— Хорошо. Значит, запоминай. Я сделаю для тебя все. Карьера, роскошь, деньги, связи — все с меня. Книжки эти сраные — заказывай любые, хоть в золотых обложках. С одним условием: ты остаешься с моей дочерью и делаешь все, чтобы я об этом не пожалел. И все, чтобы она была счастлива. В том числе как женщина. И еще — как мужик мужику: ты можешь завести бабу на стороне. Но не дай бог, если Марина об этом узнает. Место на кладбище я тебе уже присмотрел. Ты понял? Все понял? Устраивает?

— Напрасно вы так, — потупившись, сказал я. — Я ведь люблю Марину, я и так бы... Без всяких условий и угроз.

Генерал хмыкнул.

— Любишь, говоришь? Ну-ну...

— Стас! Стас, сучий ты кот! Аля, как всегда, входит в вагон на «Академической». Пассажиры шарахаются. Она в том же обличье и в том же амплуа, что в прошлый раз. Неопрятная, грубая, уродливая бомжиха Парамонова. И несет от нее смрадню.

— Ты завел новую шалаву, ублюдок! — исходит криком Аля. — Плоскую белобрысую потаскуху. Я ее видела, эту тварь!

Господи, за что мне это...

— Ты не могла никого видеть, — пытаюсь урезонить я Алю. — Не выдумывай, пожалуйста.

Под осуждающие взгляды схлынувших в торцы вагона пассажиров Аля нависает надо мной.

— Какая же ты дрянь, Стас, — хрипит она. — Я видела эту сучку с тобой в метро, ты лапал ее. Законной стервы тебе мало, козел, тебе всегда было мало.

Аля врет. Я никогда не тискал Вику на людях, не рисковал даже поцеловать. Все происходило у нее дома, в тесной однокомнатной распашонке на Нейшлотском, оставшейся ей от бабушки. Вика была словно скроена для меня, во всем. Она оказалась чувственной, но без всяких шекспировских страстей, буйных криков и пошлятины, которыми в избытке досаждала мне Аля. Еще она была крайне деликатной, но не закомплексованной, как Марина. Заводилась Вика мгновенно и отдавала себя когда и как угодно, стоило лишь попросить или даже намекнуть. Всякий раз с глубоким, подлинным чувством.

Но это было даже не главным. Вика любила литературу. Она могла часами слушать, замороженно глядя на меня, пока я рассказывал об амурах Тургенева, экспедициях Арсеньева, проигрышах Достоевского, мемуарах Фета... Правда, Аля тоже любила литературу. Особенно поэзию. Некрасова, Майкова, Баратынского, Есенина, Бальмонта, Блока... Она преобразалась, когда декламировала. Становилась отрешенной, нездешней, едва ли не одержимой стихами, как религиозная фанатичка молитвами.

— Аля, оставь меня в покое, — обреченно прошу я. — Пожалуйста.

На мгновение она перестает быть наглой, опустившейся хабалкой.

— Не могу, — шепчет та, прежняя Аля, первая красавица второго курса. — Не могу, Стас. Я ведь люблю тебя. Несмотря ни на что.

Аля закашливается — удушливая волна зловония накатывает на меня вновь.

— Еще чего, сучонок, — хрипит она. — На, подлец, выкуси. — Обтянутые драной рукавицей пальцы складываются в неприличном жесте. — Ты будешь жарить всяких шалав, а я должна молчать, да? Ишь, гаденыш. Даже не подумаю!

— Послушай, — предпринимаю я последнюю попытку, — я нормальный мужик, мне нужна женщина. Ты ведь знаешь, что я не получаю удовлетворения от жены. У нас с тобой не сложилось, но...

Я осекаюсь. Бессмысленно, понимаю я. Она не отстанет от меня. Никогда.

— Ты поразительный, чудовищный мерзавец, Стас, — кричит, почесываясь, Аля. — Неужели ты думаешь, что я... Что я тебе посочувствую? После всего, что ты со мной сделал.

Она отступает на шаг, другой. Безобразное, уродливое лицо кривится, скукоживается, вянет. Аля плачет. Поезд останавливается на «Политехнической». Она пятится от меня прочь. И уходит. Сама. Первый раз за все время. Бредет, ссутулившись, по платформе. Нищенка Парамонова, живущая в заброшенных тоннелях метро, среди крыс, грязи и нечистот.

Меня раздрает болью. Судорожно глотаю воздух распахнутым настежь ртом. Лучше бы она, как обычно. Лучше бы, как всегда. Это выше моих сил. За что?!

— Стас, наконец-то ты пришел. Я так боялась одна. Где ты был?
Марина прижимается ко мне. Истончавшая, поблекшая, жалкая.

— Ну, ты же знаешь, что бояться нечего. Сидел в библиотеке, начитывал материалы для докторской. Потом забежал в букин, урвал пятитомник Бунина, парижского издания, очень редкий.

— Ох, а я думала... Я связала тебе новый шарфик.

Привычно глажу Марину по голове, приобщаю шарфик к четырём десяткам томящихся в комоды собратьев и иду в кабинет. Здесь то, что мне по-настоящему дорого. Книги, мои книги. Старинные, антикварные, в кожаных переплетах с золотыми обрезами. Прижизненные издания Островского, Фонвизина, Лермонтова... «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева — редчайшая вещь, тень купил ее на лондонском аукционе и подарил мне на десятилетие свадьбы. Цена заоблачная — царским указом тираж был запрещен и пошел под нож, в мире остались считанные экземпляры. «Острожская Библия» шестнадцатого века от Ивана Федорова. Крамольные, подлежащие сожжению «Записки о Петре Великом» Туманского. «Ганц Кюхельгартен» Гоголя — чудом уцелевший экземпляр из тиража, который скупил и уничтожил сам писатель.

Книги. Русская литература. Я иду вдоль стеллажей, касаясь пальцами золоченых тиснений на корешках. Блок, Гнедич, Жуковский, Короленко, Мережковский, Панаев, Степняк-Кравчинский, Салтыков-Щедрин...

Достаю стремянку и пристраиваю пятитомник Бунина на шестую снизу стеллажную полку.

— Добро пожаловать, Иван Алексеевич, дорогой, — говорю я вслух. — Добро пожаловать домой.

В стенах кабинета — мой мир. Мой дом, моя крепость. Мое убежище — келья книжного червя. Уютное, безопасное, отгороженное от посторонних пристанище. Только здесь я, наконец, сбрасываю с себя все суетное, напускное, чтобы слиться с самым прекрасным и единственно важным на целой Земле.

Я вижу старуху на подходе к метро. Она меня не замечает, бредет по своей нищенской нужде — видимо, на помойку. С полминуты я смотрю ей в спину, затем бросаюсь следом, догоняю.

— Парамонова, — хватаю ее за плечо. — Давай поговорим.

Бомжиха дергается, стряхивает мою руку. Меня обдает зловонной волной.

— Пошел на хрен, — сипит Парамонова.

— Тогда отпусти Алю. Дай ей уйти. Пожалуйста. Хочешь, я заплачу?

Злобный старушечий взгляд колет, царапает мне лицо. Али в Парамоновой сейчас, вне метро, нет. Бомжиха принимает ее только внутри.

— Каков гаденыш, — изумленно скрипит старуха. — Это я должна отпустить? За деньги? Не ты, а я?! Хрен тебе!..

— Стас, милый!
— Что?
Мы с Викой бредем по аллеям Летнего сада. Июнь отошел, а вместе с ним увяли пионы, посерели белые ночи, и приказала долго жить летняя сессия. Тополиным пухом просквозил июль. Студенты и преподаватели разъехались на каникулы. Я остался в городе из-за того, что уехать могу не дальше конечной станции метро. Вика осталась из-за меня.

Лето, август... Занятий нет. Есть читальный зал, который я якобы посещаю. Материалы для диссертации, которую забросил с тех пор, как у меня появилась Вика. Но к вечеру я неизменно возвращаюсь домой. Дневного времени нам с Викторией хватает, мне не приходится звонить Марине и врать, что задерживаюсь на семинаре. А потом ехать к ней с пудовой гирей греха на сердце.

— Я тут подумала, — грустно улыбается Вика. — Как же тебе было все эти годы. Без никого, без меня. Каждый день приходиться домой и видеть...

— Пожалуйста, не продолжай, — обрываю я. — Мне было плохо без тебя. Но теперь ты у меня есть.

Мои отношения с Мариной — запретная тема. Я стараюсь не касаться ее. Вообще. Я уже однажды сделал ошибку, поделившись семейными проблемами с Алей.

— Есть, — счастливо улыбается Вика. — Тебе никто не говорил, что ты похож на Арамиса с иллюстрации к «Трем мушкетерам»?

Я вздрагиваю.

— Нет, никто. Выдумаете тоже.

Аля говорила, что я похож на Атоса. С иллюстрации Лелуара к академическому изданию Дюма. Проклятье — опять Аля... Избавлюсь ли я когда-нибудь от нее?

— Стас, мы всего четыре месяца вместе, а мне кажется, что целую жизнь.

Я не отвечаю. Почему-то расхожие слова у Вики звучат так, что хочется их слушать, а не ежиться от холода по коже, как бывало всякий раз, когда банальности выдавала Аля. Однажды...

— Стас, а ты хотел бы на всю жизнь?

— Прости, задумался. Что ты сказала?

— Спросила, не хотел бы ты остаться со мной на всю жизнь.

Я останавливаюсь. Августовское небо злорадно припекает макушку. «Немезида» работы Тарсия глядит на меня с постамента с укором. «Истина» Гропелли — с

презрением.

— Вика, — говорю я устало, — я не люблю мечтать о несбыточном. Я не могу бросить Марину. А она никогда не отпустит меня.

На секунду представляю, что несбыточное все же сбылось. Что нет Марины, нет навязчивой генеральской опеки. Квартиры в элитном доме тоже нет. И нет книг, старинных, редких, полутора тысяч томов, за которыми я охотился, платя бешеные деньги антикварам, букинистам и аукционерам. Как я буду без них? Как?!

— А если бы отпустила? — Вика подается ко мне, заглядывает в глаза. — Если бы Марина позволила тебе уйти?

Мне тоскливо и больно. Тот же вопрос задала Аля. В тот день, когда мы расстались. Но я не хочу расставаться с Викой. Не хочу!

— Оставим эту тему, прошу тебя.

Вика молчит. Понурившись, бредет прочь. Догоняю ее, беру под руку, утираю заплаканные глаза цвета левой незабудки.

— Пойдем, милая. Мне пора.

Мы спускаемся в метро вместе со спешащей по делам с работы толпой пассажиров. Она выносит нас на платформу, к последнему вагону.

— Стас, у нас будет ребенок.

Вокруг толчея. Рядом с нами худосочная, прыщавая, неопрятная девка в обносках, она, кажется, подслушивает. Отталкиваю ее. У меня слабеют колени, хватаюсь рукой за опоясанную мозаикой мраморную колонну, чтобы не упасть. Шесть лет назад эту фразу произнесла Аля. Я молчу. Я знаю, что Вика скажет сейчас. Знаю наверняка. Потому что слышал уже это. От Али.

— Срок три месяца, Стас. Я должна поговорить с твоей женой.

У меня темнеет в глазах. Те же слова, так и есть. Я пытался уговорить Алю не делать этого. Объяснял, аргументировал, молил. Напрасно. В последний раз мы виделись с ней в метро. На «Академической», тоже в толпе. Аля направлялась к Марине, клялась, что будет сама деликатность...

Толпа напирает — из тоннеля шпарят сполохи света с головы приближающегося поезда.

— Стас, — доносится до меня Викин голос, — Стас, любимый, почему ты молчишь?

Аля заходит в вагон на «Академической». Нет, не заходит, врывается, расшвыривая пассажиров. Уродливая, грязная, опустившаяся бабища. Неотвратимая, как расплата за смертный грех. Парамонова.

Снаружи октябрь, дождь. А в метро, как всегда, безвременье. Здесь только я и Аля. Я еду на работу. У меня интересная, творческая работа. Я преподаю русскую литературу. Учу прекрасному.

— Стас, мерзавец, тварь! — истерически орет Аля. — Что же ты наделал, гадина? Что натворил?!

У меня нет сил. Нет сил это все терпеть.

— Пошла вон, — выдыхаю я. — Отвяжись от меня, уродка.

— Я должна была тебя кастрировать, — хрипит, трясется в корчах Аля. — Или удавить. Какая же я дрянь, что не сделала этого!

После того, как я расстался с Викторией, Парамонова появляется чуть ли не каждый день. Нет, не Парамонова — Аля. Это невыносимо, меня крутит, корежит, давит от этого, я схожу с ума.

— Уберите ее, — прошу я неведомо кого. — Умоляю: уберите ее от меня. Пускай убирается, уходит, я не могу больше...

Вика, как всегда, встречает меня на «Невском проспекте», едва я выхожу из вагона. Берет под руку. Тоже как всегда.

— Как ты без меня, Стас, любимый? — спрашивает она.

Не знаю, что хуже: Алина непотребная брань или Викина искренняя забота.

— Плохо, — признаюсь я. — Мне без тебя очень плохо.

— Знаешь, я поняла кое-что, — тихо, едва слышно говорит Вика. — Твоя жена ни при чем. Это все книги. Тебе были нужны только они. Не жена. Не я. И не та девушка с «Академической», которую ты убил.

— Я не убивал, — в который раз бессильно повторяю я. — Не...

Але не повезло: она умерла не сразу. Она мучилась еще несколько часов, потому что упала под поезд, когда мы стояли у головного вагона. Тело почти не пострадало, если не брать в расчет расколотый череп и раздавленную левую ногу. Парамонова наверняка была там, в тоннеле, в боковом ответвлении, и видела, знала... Она выползла из своей норы и забрала Алю. Приютила ее в себе. Зачем? Я не могу, не могу, не могу этого понять!

Вике повезло больше: от нее не осталось почти ничего. Но я вижу не искореженную, изломанную фигуру и смятое в блин безносое лицо с черными провалами там, где раньше цвели две полевые незабудки. Передо мной девчонка-заморыш, грязнуля и голодранка, жалкая, прыщавая, неряшливая беспризорница. Она забрала Вику — так же, как Парамонова Алю. Дала приют, поселила в себе. Однажды я набрался смелости и спросил — зачем? Эта сучка сказала — из жалости.

— Я люблю тебя, Стас, — говорит Вика. — Зря ты убил меня.

— Я не убивал...

Я не убивал. Не убивал... Это не мог быть я, это, должно быть, кто-то другой, неизвестный! Это он подтолкнул Вику. Слегка, чуть-чуть, как раньше Алю. Я не помню точно, а едва начинаю вспоминать, срываюсь, брежу, схожу с ума. Я помню лишь, что была толпа, что я смешался с толпой. Да-да, было очень людно. Любой мог подтолкнуть, почему непременно я? Я ни при чем. Ни при чем! Оставьте меня в покое! До меня даже брызги крови не долетели.

— Кто бы мог подумать, — выдыхает Вика, — я люблю своего убийцу.

— Милая, пожалуйста, уйди! Уйди от меня, умоляю!

— Не могу...

Боже мой. За что мне все это...